



# МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА



**П**ошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то. День праздничный был, и жарко — страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумёшках то есть. Малахит-руды добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королёк с витком попадали и там протча, что подойдёт.

Один-то молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подёрнулись. И кашлял завсе тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух лёгкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железню руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, — ровно его кто под бок толкнул, — проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-чёрная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зелёные. Сквозь светуют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо —





на месте не посидит. Вперёд наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнётся, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть-девка<sup>1</sup>. Слышать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком всё. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Её оде́жа-то. Как я сразу не заметил? Отвела глаза косой-то своей.

А оде́жа, и верно, такая, что другой на свете не найдёшь. Из шёлкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шёлк, хоть рукой погладить.

«Вот, — думает парень, — беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слышал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а всё ж таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда, — говорит, — мне разговаривать. Без того проспала, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего.

---

<sup>1</sup> Артуть-девка — живая, подвижная.







Пошёл к ней, а она рукой маячит: обойди-де руду-то с другой стороны. Он обошёл и видит — ящерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зелёные, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблёклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеётся.

— Не расступи, — говорит, — моё войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжёлый, а они у меня маленьки. — А сама ладошками схлопала, ящерики и разбежались, дорогу дали.

Вот подошёл парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и всё смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатно. Все ящерики-то сбились в одно место, — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блёски всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да ещё слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно, — отвечает малахитница. — Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи, да, смотри, не забудь слов-то: «Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского





рудника убирался. Ежели ещё будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумёшках туда спущу, что никак её не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерики разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватила рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерица, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у её зелёные стали, хвост высунулся, по хребтине до половины чёрная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, — душному козлу, — с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул вгорячах:

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерице женился.

А она видит, как он плюётся, и хохочет.

— Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зелёный мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он ещё, — и верно, — душной был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду





может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошёл. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вechóр Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душнóму козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумёшках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая Хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено.

— Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, — тоже собака не последняя, — отвёл ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, — крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель ещё и говорит:

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, — и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошёл надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать, а парень всё ж таки проворный был. Глядит — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.









«Вот, — думает, — хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душно́го козла. Хорошо ему сказал. Пойдём, видно, моё приданое посмотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерики набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы на отбор малахит был, шёлкового сорту. — Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдём посмотреть моё приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идёт — всё ей открыто. Как комнаты большие под землёй стали, а стены у них разные. То все зелёные, то жёлтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шёлком зелёным отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше, — говорит, — на многие вёрсты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумёшек самое дорогое место.

И видит Степан огромную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки — всё из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок тёмно-красный под чернетью, а на ём цветки медны.





— Посидим, — говорит, — тут, поговорим.

Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

— Видал моё приданое?

— Видал, — говорит Степан.

— Ну, как теперь насчёт женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты, — говорит, — друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берёшь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец, — говорит, — Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку. — А у парня, верно, невесту-то Настей звали. — Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты — и подаёт большую малахитову шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же, — спрашивает парень, — я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Всё будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай.





Это третье тебе моё испытание будет. А теперь давай поешь ма-ленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящери — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыб-ным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду по-лагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне. — А у самой слёзы. Она это руку подставила, а слёзы кап-кап и на руке зёрнышками застывают. Полнёхонька горсть. — На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь. — И подаёт ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть жи-вая, и трясётся маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне идти? — А сам тоже невесёлый стал. Она указа-ла перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днём. Пошёл Степан по этой штольне — опять вся-ких земельных богатств нагляделся и пришёл как раз к своему забою. Пришёл, штольня и закрылась, и всё стало по-старому. Ящерика прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал её за пазу-ху. Вскоре надзиратель рудничный подошёл. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом. «Что, — думает, — за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел всё, да и говорит:

— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. — И повёл Сте-пана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отле-тает, да ещё королёк с витком попадать стали, а у того — у пле-мянника-то, — скажи на милость, ничего доброго нет, всё обаль-чик да обманка идёт.







Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе, — говорит, — Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пуцай только малахитовую глыбу во сто пуд найдёт.

Велел всё ж таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто, — говорит, — его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуны порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье моё подойдёт.

Вскорости нашёл им Степан глыбу такую. Выволокли её наверх. Гордятся — вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовёт к себе Степана.

— Вот что, — говорит, — даю тебе своё дворянское слово отпустить тебя на волю, если ты мне найдёшь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Учёный я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно своё:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.





Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

— На, — говорит, — только старайся смотри.

А Степан всё своё:

— Это уж как счастье поищет.

Нашёл, конечно, Степан. Что ему, коли он всё нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашёл, и посеичас в нашем городу, говорят. Как редкость её берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумёшках после того всё богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идёт, а больше обманка. О королюке с витком и слыхом не слышать стало, и малахит ушёл, вода долить стала. Так с той поры Гумёшки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завёл, дом обстроил, всё как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невесёлый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушёл так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мёртвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечку у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зелёную видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало.





Сидит будто над покойником, голову подняла, а слёзы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только её и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из неё зёрнышки зелёные. Полнёхонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зёрнышки и говорит:

— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда ещё женихом был. Большую шкатулку, малахитовую. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мёртвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слёзы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.



# МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА



**У** Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он ещё жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить.

С первых годов, как жили со Степаном, надёвывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмёт, не скатывается, а пойдёт в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-от, в конце нали<sup>1</sup> посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лёд кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

---

<sup>1</sup> Нали — даже.







Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мёртвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать.

А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, учёной был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу даёт. Ну, и винцом не брезговал. Также добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всём правильный. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть — всё по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесёт стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь<sup>1</sup> правильный и в делах смышлёный, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно, — говорит, — поберегу на чёрный день. — И поставила шкатулку на старое место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а всё робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья — баба работя-

---

<sup>1</sup> Щегарь — горный мастер.





щая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели всё ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Всё едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьём<sup>1</sup> не наденешь эго место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей даёт, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продаёт за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Ещё при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама чёрненька да басенька, а глазки зелёненьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

---

<sup>1</sup> Ремьё — обноски, отрепья.





Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что чёрненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зелёные — тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. «Ну-ка ты, Памятка моя!» И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зелёного принесёт.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко её видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабёшки, и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта всё знает. Да ещё говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да ещё кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у неё пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!





Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или ещё куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатёрку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, кури-чёшкам корму дать, в печке поглядеть. Справит всё поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот лёгонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любитесь, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навёл его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу: поиграть отцовскими камешками. Наде-ла наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трёт.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашёл, пошто топор взял?

А тот знай стонет да глаза свои трёт. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.





— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка соседям не сказала. Те и думают: «Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашёл, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи всё ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит — всё в сохранности, вязаться не стала. Ушёл тот человек, и соседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то её, видно, непросто. А сама думает: «Оберегать-то её всё ж таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а её быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом её опажнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно ещё краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке.







Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут, в голбце, и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», — а дочь, как домовничать, так и урвёт часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчёт продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придёт — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось — а укрепилась. Так ещё сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берёт, где шелка достаёт?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого роста, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черёмуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяйюшка, у тебя денёк-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти неблизко.

Настасья сперва подумала, не подслана ли опять за шкатулкой, потом всё ж таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесёшь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь, неочесливая! Приветить её не успели, а она на-ко — обутки сняла и котомку развязала».





Женщина и верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитяtko, погляди на моё рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-от на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подаёт ей ширинку маленькую, концы шёлком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, моё рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу, — говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ко, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяйюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаём. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чём не поучиться. Пуцай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорёхонько Танюшка всё переняла, будто раньше которое знала. Да вот ещё что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнёт, так и льнёт. Настасья скоса заглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдёт, а к бродяжке прилипла!»

А та ещё ровно дразнит, всё Танюшку дитяtkoм да доченькой зовёт, а крещёное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит,







что мать в обиде, а не может себя сдержатъ. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятиня памятка — шкатулка малахитова. Вот где камня! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка, — не того слова, — стала надевать, а та знай похваливает.

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай её потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперёд гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высокие на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошёл. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зелёные. И вся-то она изукрашена дорогими каме-







ньями, а платье на ней из зелёного бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чём только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, камнями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подмётки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенкий. Глаза враскос, уши пенёчками, как есть заяц. А одежда на нём — уму помрачение. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на неё и только тут заметила:

— Ведь камения-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?

— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала





Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подаёт её Танюшке, да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдёт, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только её и видели.

С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невесёлая, да и за крепостного где же вольная пойдёт? Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то её. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда её обратить можно. Толку всё ж таки не вышло. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так ещё надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такою ли найдём!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, за быть не может Танюшкину красоту. Как приворожённого к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице.

